

Сергей Чупринин

**Признательные  
показания**



**Сергей Чупринин**  
**Признательные показания.**  
**Тринадцать портретов, девять**  
**пейзажей и два автопортрета**

*Текст предоставлен изд-вом "Время"*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3915095](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3915095)*

*Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и  
два автопортрета: Время; Москва; 2012  
ISBN 978-5-9691-0757-1*

**Аннотация**

В эту пеструю, как весенний букет, книгу вошли и фундаментальные историко-литературные работы, и мемуарные очерки, и «сердитые» статьи о том, как устроена сегодняшняя российская словесность, известный критик, главный редактор журнала «Знамя», как и положено, внимательно разбирает художественные тексты, но признается, что главное для него здесь – не строгий филологический анализ, а попытка нарисовать цельные образы писателей, ни в чем друг на друга не похожих, понять логику и мистику их творческого и жизненного пути. Вполне понятно, что в этой галерее портретов и пейзажей находится место и автопортретам, так что перед нами – самая, может быть, исповедальная и самая «писательская» книга Сергея Чупринина.

# Содержание

От автора	4
Портреты	6
Разночинец: Николай Успенский	6
1	7
2	22
3	28
4	36
Литератор: Петр Боборыкин	44
1	44
2	48
3	54
4	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

**Сергей Чупринин**

**Признательные показания.**

**Тринадцать портретов,**

**девять пейзажей и**

**два автопортрета**

**От автора**

Эта книга вызывающе антифилологична.

Ведь для филолога что главное?

Слова на бумаге. Произведение. Текст.

И еще раз: текст.

Все остальное – жизнь писателя, его миропонимание и свойства личности, обстоятельства времени и места – филологу интересно лишь в той степени, в какой они проявились в тексте и что-то в нем объясняют.

А мне интересны прежде всего сами писатели. И литература предстает для меня не миром произведений, но миром писателей. Их расхождений и сближений, их увлечений и причуд, их предрассудков и фобий. Их характеров.

На вопрос, что же самое важное за шестьдесят с лишним

лет узнал я о жизни, я обычно отвечаю: то, что люди — очень разные.

И писатели тоже.

Литературное произведение при таком взгляде открывается не как самоценный перл творчества, но как всего лишь одно из проявлений суверенной и неповторимой личности автора, как производное от вот именно что обстоятельств времени и места.

Это для филолога неправильно. И, может быть, даже непрофессионально.

Но почему бы мне не быть неправильным?

«Как овечка черной шерсти, я не зря живу свой век — отнюдь совершенство безукоризненных коллег».

На этом месте по этикету компьютерного века должен появиться смайлик. Вот он: :))

А дальше можно опять почти всерьез. «Признательные показания» — никакая не монография с «длинной мыслью», а сборник статей, писавшихся в разные годы и по разным поводам. Пестрых — словно мир писателей, мир литературы.

Тем, надеюсь, и интересных.

Как проявление суверенной и неповторимой:) личности их автора, как производное от обстоятельств времени и места, в какие нам выпало жить.

Словом, признательные показания, как и было сказано.

# Портреты

## Разночинец: Николай Успенский

Когда в ночь на 21 октября 1889 года Николай Васильевич Успенский перерезал себе горло тупым перочинным ножом подле одного из домов Смоленского рынка, где ютился нищенствующий московский люд, солидные литературные журналы никак не откликнулись на кончину писателя, а издания помельче проводили его в последний путь то ли сокрушенным вздохом, то ли риторическим вопросом:

«Многие ли из современной публики, не говорим уже, читали, но хотя бы слышали об этом писателе?» («Новости», 1889, № 295).

На риторические вопросы отвечать не принято. Но задуматься о страдальческой участи «одного из первых и крупнейших народных писателей» России, как назвал Успенского И. А. Бунин, наверное, стоит даже сейчас – спустя сто с лишним лет со дня его смерти.

Как в самом деле могло свершиться падение таланта, отмеченного и поддержанного в начале творческого пути и Н. А. Некрасовым, и И. С. Тургеневым, и Л. Н. Толстым? Почему русской общественностью так скоро забылось даже имя

писателя, чья первая книжка вызвала заинтересованно-сочувственный отзыв Ф. М. Достоевского и послужила поводом для знаменитой статьи Н. Г. Чернышевского «Не начало ли перемены?»? Отчего и в двадцатом веке произведения Успенского переиздаются с перерывом в несколько десятилетий (1931 – 1957 – 1987 гг.), а в литературной табели о рангах ему отведено предельно скромное место второ-, если не третьеразрядного беллетриста народнической школы?

Все эти вопросы, как мы увидим, теснейшим образом увязаны друг с другом, но для удобства рассмотрения полезно отставить пока собственно литературную, творческую сторону дела и сосредоточиться на личности Успенского, которого Чернышевский в 1861 году с полным правом именовал «любимцем» публики и к которому спустя уже десять лет навеки пристал сомнительный титул «когда-то знаменитого, а ныне почти всеми позабытого» («Дело», 1872, № 1, с. 7) писателя.

## 1

Есть мнение, что всеми своими – и литературными, и житейскими – бедами Николай Васильевич Успенский был обязан исключительно самому себе, вернее, своей дурной наследственности, скверному воспитанию и ужасному характеру.

Мнение небезосновательное. К. И. Чуковский, подробнее, чем кто-либо, исследовавший биографию Успенского, с по-

нятной горечью замечает, что все ближайшие родственники писателя, родившегося в многодетной и полунищей семье сельского священника, были беспросветными пьяницами, а отец его матери и брат отца к тому же еще и душевнобольными. Сам Николай Васильевич с детства страдал лунатизмом и с детства же пристрастился к выпивке, хотя, по сообщению И. А. Бунина – другого биографа Успенского, – «пить начал Н. В. уже лет под сорок, то есть, разумеется, пить “как следует”».

Что ж тут долго рассказывать про домашнее воспитание на основах патриархальной нравственности, если отец всеми правдами и неправдами отлынивал от забот о хозяйстве и благополучии семьи, мать охотно наделяла детвору водкой, и привычной средой обитания явилась для малолетнего поповича помещичья челядь, донельзя развращенная праздностью и холуйством.

«Нельзя, да и не надо говорить, – вспоминает мемуарист, – о растлении его души с ранних лет в поповской среде, где он родился и жил и которую, увы, любил все время, любил ее безбожество и все то, что известно под наименованием “жеребьячья порода”; издевался над свинским житьем этой пьяной, сластолюбивой, жадной до плотских удовольствий поповской толпы, но все-таки любил быть здесь из удовольствия издеваться над ней, любоваться распутством».



Процесс «растления души» незаурядного, как можно предположить, мальчугана с успехом продолжался в почти неперенной для деревенских поповичей семинарии, нравы которой, хорошо известные читателям по хрестоматийным «Очеркам бурсы» Н. Г. Помяловского, во всей своей каннибальской красе оживают и на страницах автобиографического рассказа «Декалов» самого Успенского. Розги, водка, карты, взяточничество, угодничество и наущничество, тайный разврат при показном благочестии, процветавшие в тульской семинарии, развили в смышленном, хотя и на редкость скверно учившемся Николке привычку к грубому шутовству, скандальному «балаганству», сохранившуюся вплоть до самой смерти, вскормили в нем – и это, пожалуй, главное – чувство лютой обиды на весь мир и прежде всего на тех, кому в жизни выпала – или казалось, что выпала, – более легкая доля.

Особенную, чуть не до ненависти, злость и завистливое раздражение вызывал у дерзкого бурсака двоюродный брат Глеб, которому посчастливилось родиться в обеспеченной семье тульского палатского секретаря, пользоваться отцовским выездом и отцовскими связями, учиться в гимназии и т. д. и т. п. Годы, десятилетия пройдут, прежде чем неизжитая досада выплеснется в воспоминаниях Николая Васильевича о Глебе Ивановиче, который и на писательском-то поприще оказался «удачливее» своего двоюродного брата:

«Мое отрочество и детство Глеба Ивановича

Успенского, – с чисто семинарским “витийством” и подпирающим под самое горло сарказмом пишет автор книги “Из прошлого”, – представляло собою два радиуса, центром которых служил нам общий дедушка, пономарь Чернского уезда, имевший счастье принимать в своей скромной хижине И. С. Тургенева. Направления упомянутых радиусов выражались в том, что я, несмотря ни на какие метеорологические пертурбации, совершал путешествие в семинарию пешком, а юный Глеб Иванович ездил в гимназию на щегольской пролетке и прилежно учился, ежедневно отдавая строгий отчет о своих успехах родителю; я всячески старался уклониться от слушания лекций семинарских профессоров и возвращался из рассадника благочестия в свою квартиру, встречаемый известием кухарки, что руководители моего умственного и нравственного развития все, без исключения, разошлись по трактирам. Глеб Иванович, как ученик, был образцом трудолюбия и прилежания, а мое имя было синонимом упорной лености, не поддающейся никаким мерам, в числе которых первенствующее место занимала экзекуция...»

Николай Успенский оказался действительно неподдающимся или, как сказали бы сейчас, «запущенным», «трудным» подростком. Семинарию он бросил, едва дотянув до богословского класса, и отправился... нет, не в тульский трактир, как того следовало бы ожидать, и не в родное Ступино Чернского уезда Тульской губернии, а в петербургскую Медико-хирургическую академию.

Что влекло его в столицу, в среду молодой, бурно проявляющей себя разночинной интеллигенции? Стремление вырваться из убогого до омерзения, до тошноты поповско-бурсацкого круга? Надежда начать новую жизнь, «послужить России»? Пробуждающийся литературный талант, что сказался пока только в сумбурно-гаерских записях в памятной книжке?

Ответа нам не будет. Но известно, что, не проучившись в академии даже года (о том, в каких ужасающих условиях шла учеба, как трудно было нищим студентам сводить концы с концами, смотри рассказ «Брусилов», опять-таки автобиографический), Успенский бросил и ее, свой разрыв с мечтами о высшем образовании и докторской карьере ознаменовав дичайшею, вот именно что бурсацкою выходкой: препарировав руку трупа, он изрезал ее на куски, изломал выданные ему инструменты, разбросал их по палате – и ушел. Куда ушел? Зачем? Почему? Были собраны на экстренное совещание профессора академии, и... святотатца изгнали из ее стен с позором.

Вот тут бы, казалось, уже и концу наступить; призрак «нищевродства», кабацкого ухарства и буйства, всего того, что к рубежу веков станут называть «босячеством», замаячил перед Николаем Успенским все грознее и все определеннее. Но тороватая судьба готовила ему новый и, как выяснилось позднее, последний жизненный шанс.

Еще студентом академии он напечатал два рассказа «из

русского простонародного быта» в еженедельном журнальчике «Сын отечества», издававшемся при ближайшем участии пережившего свой «звездный час», но все еще популярного Барона Брамбеуса (О. И. Сенковского). Рассказы эти, набранные самым мелким журнальным шрифтом и даже без указания фамилии автора, прошли абсолютно не замеченными как публикой, так и критикой. Да и денег, надо думать, безвестный новичок получил самую малость.

С третьим рассказом – это было «Хорошее житье» – Успенский направился поначалу в «Отечественные записки», редактировавшиеся в ту пору С. Дудышкиным, но там нашли, что, как вспоминал позднее писатель, «язык слишком народен и непонятен для публики...». Оставалась последняя – слабая – надежда на «престижный» некрасовский «Современник», прославленный именами Тургенева, Толстого, Дружинина, Григоровича, Чернышевского, Добролюбова...

Успенский явился к Некрасову – и был обласкан сверх всяких ожиданий, сверх всякой меры. «Хорошее житье» и при бавленный к нему «Поросенок» тут же были отправлены в типографию, причем Некрасов распорядился печатать их самым крупным шрифтом на первых страницах ближайшего журнального тома. Автору был назначен вполне приличный для дебютанта гонорар, а через год с ним заключили условие, чтобы он сотрудничал исключительно с одним «Современником», и за это, кроме гонорара, ему обязались

платить ежемесячно по пятьдесят рублей, что, как говорят, было достаточно для более или менее безбедного проживания в столице.

Началась самая светлая полоса в жизни Успенского. Его рассказы и очерки, на которых едва чернила успевали просохнуть, незамедлительно шли в печать, и «сам» Добролюбов уже через пару лет настойчиво рекомендовал пополнить хрестоматию для юношества произведениями двадцатитрехлетнего писателя («Современник», 1860, № 4). И «сам» Чернышевский многократно беседовал с новым для журнала автором, а затем посвятил его творчеству обширную, программной значимости статью («Современник», 1861, № 11). И «сами» Тургенев, Толстой, Григорович – первые писатели эпохи и к тому же аристократы, люди «света» – одарили поповского сына знакомством, лестным своей краткостью. И «сам» Некрасов – когда Успенскому пришла охота продолжить образование на историко-филологическом факультете Петербургского университета – обратился к бывшему тогда ректором Плетневу с просьбой назначить стипендию «очень талантливому», «обещающему много в будущем» студенту. Успенский, правда, поучился в университете по обыкновению недолго, но Некрасов и тут не оставил его своим попечением.

«Однажды, в трескучий зимний мороз, – вспоминал впоследствии Успенский, – я пришел к Некрасову, чтобы передать ему один из своих очерков.

С знаменитым поэтом сидел известный ветеран-беллетрист Д. В. Григорович.

– Знаете, что я вам посоветую, Успенский, – начал Николай Алексеевич, – поезжайте-ка за границу.

– Да на какие же средства?

– У вас есть прекрасные средства...

– Правда, правда, – произнес бархатным баритоном Дмитрий Васильевич.

– Средства эти, – продолжал Некрасов, – ваши рассказы... Их в “Современнике” напечатано так много, что из них выйдет довольно солидный томик. Я издам их в свет, а вам дам денег на путешествие, которое для вас будет очень полезно... В Париже теперь живет Тургенев, в Ницце Добролюбов, во Флоренции Боткин, автор “Писем об Испании”. Если хотите, мы вас снабдим письмами к ним».

Одним словом, жизненные и литературные блага сыпались на Успенского как из рога изобилия. Оставалось вроде бы только благодарить судьбу, сведшую начинающего писателя с кругом «Современника», радикально-демократической и либеральной творческой интеллигенции.

Но не таков, совсем не таков был Николай Васильевич Успенский, чтоб только благодарить или пользоваться случаем для расширения своего культурного кругозора. Вернувшись из-за границы, где он, судя по его же письмам поэту К. К. Случевскому, провел около года, не столько знакомясь с прославленными красотами Рима и Парижа, сколько

созерцая «свеженькие юпочки» гризеток, Успенский тут же устроил Некрасову дикий скандал, обвиняя его в «спекуляторстве» и нечестности денежных расчетов. При этом, стремясь заручиться поддержкой Чернышевского, умудрился и его грубо задеть, так что, спустя всего два месяца после выхода прославившей Успенского статьи «Не начало ли перемены?», Чернышевский вынужден был потребовать от своего недавнего «любимца» формальных извинений.

Извинения Чернышевскому были принесены. Но в своей расправе с Некрасовым – абсолютно, как показал, основываясь на архивных материалах, К. И. Чуковский, немотивированной и безусловно оскорбительной для чести издателя «Современника», – Успенский не унимался, настаивая на «третейском суде», понося своего «благодетеля» везде, где его только соглашались слушать.

И, естественно, был безжалостно выброшен из круга «Современника». Вернее, вышел все-таки из него сам, с треском хлопнув дверью, подобно тому, как это несколькими годами ранее случилось в Медико-хирургической академии.

Не спрашивайте, что было пружиной затеянного Успенским и убийственного для него же самого скандала. Водка ли виновата («В это время он уже пьянствовал так, что редко бывал в трезвом виде», – пишет К. И. Чуковский), писательское ли самомнение, махровым цветком распустившееся в атмосфере дружественных похвал и покровительствования, фанаберия ли «нигилиста из бурсаков», отроду не знакомого

с чувством меры или хотя бы с чувством края, – бог весть. Важно то, что именно на самом крутом подъеме творческого пути, когда будущее казалось безоблачным и ум теснили дерзкие литературные планы<sup>1</sup>,

«вдруг он, – по словам К. И. Чуковского, – сорвался и полетел словно в яму, безостановочно, покуда не очутился на дне».

Поначалу, конечно, о «дне» и помину не было. «Подверстав» свой сугубо денежный раздор с Некрасовым к недавно завершившемуся процессу идейного размежевания писателей – либералов и «аристократов» с «Современником»<sup>2</sup>, Успенский на первых порах был, с одной стороны, поддержан в материальном отношении Толстым и Тургеневым, а с другой, с распростертыми объятиями принят во враждебных Чернышевскому изданиях («Искра», «Отечественные записки», «Русский вестник», позднее «Вестник Европы»).

Но что же из этого вышло? Решительно ничего хорошего. Толстой тогда же, в 1862 году, пригласил Успенского учителем в яснополянскую школу и перепечатал у себя в журнале его рассказ «Хорошее житье». Но Успенский в Ясной Поляне надолго не задержался, на прощание нахамив, по свое-

---

<sup>1</sup> «...Вы не знаете, какой у меня план для романа, – писал он Случевскому из Парижа. – Фу! Где вам знать! Какой-нибудь Дюма написал бы 30 частей (томов) на этот сюжет».

<sup>2</sup> «Следуя примеру Тургенева, Толстого, Гончарова и Достоевского, я, – говорил Успенский в книге “Из прошлого”, – прекратил всякие сношения с незабвенным поэтом и издателем “Современника”».



му обыкновению, гостеприимному хозяину и далеко окрест разнеся сплетни о его «барских причудах».

Еще хуже обернулось дело с Тургеневым, который безвозмездно предоставил Успенскому в своем Спасском несколько десятин земли, чтобы тот жил, не нуждаясь и спокойно занимаясь писательством. Но Успенский и там не усидел («... Скука одолела меня... – жаловался он впоследствии. – А была осень... Вокруг моей хижины бушевал порывистый ветер и завывали волки...»), пожил сначала в Петербурге вместе с Глебом Успенским, помыкался потом там и сям и наконец, нежданно вернувшись в Спасское, задумал продать выделенный ему участок земли в чужие руки. Уговоры одуматься, усовеститься результата не имели, и Тургеневу пришлось заплатить Успенскому за свою же собственную землю, и только тогда тот выехал из Спасского, «осыпая, – по свидетельству мемуариста, – Ивана Сергеевича бранью, говорил, что Тургенев его надул, что он отнял у него то, что было подарено ему»...

Литературные дела тоже довольно скоро разладились. Стоило поддержавшим Успенского умеренно-либеральным в ту пору «Отечественным запискам» заявить, что в своих новых рассказах писатель становится наконец-то «чистым художником» и тенденция уже не берет у него перевеса над формой, как «Современник» тут же подверг «отступника» и «перебежчика» уничтожающей критике, весьма сурово оценив и новые вещи Успенского, и старые – те самые, что так

охотно печатались «Современником» прежде и на его же страницах были широко распропагандированы Чернышевским. «Отечественные записки», конечно, воспользовались поводом обвинить орган радикальной демократии в «партийной» кастовости, лицемерии и цинизме, но «Современник» стоял на своем, и его влияния на просвещенную публику было вполне достаточно, чтобы за Успенским закрепились не только прозвища «человеконенавидца» (в этическом плане) и «ренегата» (в плане идеологическом), но и репутация бесталанного беллетриста-фотографа «с крошечным куриным миросозерцанием и крошечной куриной наблюдательностью».

Террор общественного мнения не знал пощады, росли, надо думать, и болезненные наклонности самого Успенского, так что вся его жизнь в семидесятые и восьмидесятые годы превратилась в непрерывную вереницу унижений, скандалов, «балаганств», все новых и новых ударов судьбы. Выдержав экзамен на звание учителя русского языка и словесности, он пытается преподавать, но всякий раз срывается и в итоге, без разрешения дирекции покинув Первую московскую военную гимназию задолго до окончания учебного года, едва не оказывается под военным судом – за «дезертирство» и невыплату выданных ему денежных средств. Он уже в конце семидесятых годов по страстной любви женится на шестнадцатилетней поповне, и тут же погрязает в раздорах с тестем из-за приданого, а когда жена, кочевавшая с ним

из деревни в деревню, погибает, Успенский берет гармошку, чучело крокодила и двухлетнюю дочь, чтобы ради рюмки пить и плясать с нею в трактирах и в трактирах же за деньги рассказывать биографии знаменитых русских писателей.

Глядя на отснятые во время путешествия по заграницам фотографии щеголеватого, красивого молодого Успенского, больно сравнивать их со свидетельствами мемуаристов о распухом от пьянства, лохматобородом старике в арестантской овчинной бекеше, которому каждый случайный собутыльник мог «закатать в шею».

Да вот, пожалуйста, – приведенное И. А. Буниним повествование лобановского кабатчика об Успенском в последние годы его беспокойной жизни:

«Известно, – бродяга был. Чудной какой-то. Он, может, там и ученый был, только мы этому не верили. Какое же, к примеру, ученье, когда шлялся нищевородом? Раз пришел ко мне. Мы с женой сидим, чай пьем. “Дай, пожалуйста, чайку стаканчик”. – “Нету, говорю, весь уже выпили”. – “Ну, хоть стаканчик!”

“Да нету же. – Зло меня даже взяло. – Не заваривать же для тебя”.

“Ну, хоть теплой водицы из самовара; дай, ради Бога – душа пересохла”.

“Это, говорю, дело другое. Авось не жалко”. Налил ему стакан воды. Так, поверите, затрясся, – глотает, обжигается. Потом говорит: “Дай водочки”. – “Да у меня не кабак”. – “Да ведь знаю, говорит, торгуешь”. – “Ну,

а знаешь, – деньги давай”. – “Денег нету”. – “Ну, и водки нету”. – “Так возьми, говорит, что-нибудь”. – “А что у тебя?” – “Возьми штаны”. Поглядел я штаны эти, а там вместо штанов опоясая одни остались. На кой они мне черт. – “Ну, возьми гармонию. Я потом выкуплю”. Дал я ему за гармонию четверть. Он тут же всю ее с мужиками и выпил. Хорошо. Только дня через два – становой ко мне. Что такое? Оказывается, это все Николай Василич обработал. Подал заявление, что мы водкой без патента торгуем и гармонию у него отняли. Да ведь как оборудовал! Совсем я было пропал, да следователь хороший попался. Рассказал я ему при свидетелях, что он гармонию мне подарил – ну и выпутался почти. Следователь даже поругал его. “Бродяга, говорит, ты! Как же ты можешь напраслину возводить на человека?” И действительно попутал его Бог. Зарезался, слава Богу, как пес какой...».

И все-таки, как ни красноречивы эти подробности, еще больнее, пожалуй, думать о писательском, общественном падении Успенского. Критика, с середины шестидесятых годов подвергшая писателя остракизму за «измену» прогрессивным идеалам, позднее вообще перестала о нем упоминать, а если и вспоминала, то с гадливой уничижительностью<sup>3</sup>. Новые книги, собрания сочинений Успенского почти не расходились, и Тургенев уже в 1868 году не без удовле-

---

<sup>3</sup> Единственным исключением является сравнительно сочувственная по отношению к писателю статья Н. К. Михайловского «Сочинения Н. В. Успенского», помещенная в февральской книжке «Отечественных записок» за 1877 г.

творения говорил в одном из писем о «фиаско... насчет продажи сочинений Успенского». Солидные литературные журналы один за другим закрывались перед писателем, талант которого и в самом деле шел на убыль, и Успенский, побывав в иллюстрированных «Будильнике», «Сиянии», «Ниве», «Осколках», под конец жизни докатился до ультрареакционного, охотнорядского «Развлечения», где и помещал свои оскорбительные, полные сплетен и пасквильных выдумок мемуары, которые вызвали резкий протест общественности и даже пресловутым В. Бурениным были названы на страницах «Нового мира» циничной ложью.

Что же в итоге?

Итог известен: «Зарезался, слава Богу, как пес какой...». И пожалел о нем, окончательно запятнав тем самым память о писателе-демократе, только известный своим крайним мракобесием князь В. П. Мещерский.

«Умерший писатель, принадлежавший, как известно, к консервативному лагерю... – указывал князь с притворным состраданием, – не был служителем либеральной музыки, не был писателем, изливающим либерально-народнические ламентации, – поэтому он умер нищим, голодным и холодным в стране, где существует Литературный фонд, в громадном городе, где издается несколько газет и журналов. Двери последних были закрыты для покойного. Еще бы! Он не принадлежал к той либеральной клике, которая не прочь проводить до

## 2

А теперь нам придется вернуться к самому началу и в другом, что ли, аспекте поговорить о писателе, навлекшем на себя великие беды ввиду собственного несносного характера и собственной неблагодарности.

Только ли в них дело? Или, может быть, корень в том, что Успенский с годами действительно отрекся от идеалов вольнолюбивой юности, предал заветы радикально-демократического лагеря, переметнувшись в стан «охранителей» и урапатриотов, вроде князя Мещерского или сотрудников «Развлечения»?

Выпущенные в конце 1980-х годов однотомники избранных произведений Успенского позволяют, я думаю, современному читателю убедиться в том, что, изменяясь, конечно, в частностях, в деталях, мировосприятие и творческая манера писателя в целом и главное сохранили удивительную устойчивость. И в «Егорке-пастухе», и в «Народном печальнике», и в «Небывалом случае», и в других произведениях, созданных в семидесятые годы, Успенский по сути тот же, что и в «Хорошем житье», «Змее», «Сельской аптеке», печатавшихся в «Современнике» и прославленных «Современником». Тот же, во всяком случае, насмешливый, злоязыкий юмор. Та же точность бытовых примет и речевых характеристик.

То же тяготение к гротеску, к сатирической гиперболизации «свинцовых мерзостей» российской действительности второй половины XIX века.

И та же беспощадная, безыллюзорная правдивость.

Вот в ней-то, кажется, а совсем не в присочиненном «ре-негатстве», – существо писательской драмы Николая Успенского. Недаром ведь Чернышевский, начав свою знаменитую статью 1861 года с вопроса:

«Чем г. Успенский привлек внимание публики, за что он сделался одним из любимцев ее?» —

так ответил сам себе:

«Нам кажется, что причиною тут не одна бесспорная талантливость, – мало ли было произведений, написанных с талантом и все-таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г. Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас».

В чем же состоит эта «правда без всяких прикрас»? В том, что, по глубокому убеждению Успенского, российское крестьянство в массе своей, за вычетом немногих исключительно даровитых натур, то ли не вышло еще из состояния первобытной дикости, то ли замордовано уже до полной идиотичности, до вытравления хотя бы рудиментарных признаков умственной, духовной и нравственно-культурной жизни. Его интересы, как утверждает писатель, всецело связаны с

мечтами о том, как бы прокормиться, и, еще в большей степени, что бы такое из домашнего скарба снести кабатчику в обмен на косушку или осьмушку «очищенной». Любовь в этой среде сплошь и рядом сводится к грубому блюду, набожность – к варварским суевериям, а художественный инстинкт проявляет себя разве только в пьяных песнях да рассказах о шатающихся по ночам мертвецах. И – никаких перспектив, никаких порываний к лучшей доле; те мужички, что описаны Успенским, сами отволокут любого «смутьяна» или «агитатора» к становому, с враждебной опасливостью относясь даже к тем из деревенских, кто, подобно героине рассказа «Колдунья», попытается своим трудом, своими силами выбиться из застарелой нужды.

Под стать мужикам и сельские «интеллигенты», если это слово, даже взяв его в иронические кавычки, можно применить к приказчикам и священникам, причетникам и фельдшерам, прасолам и целовальникам. Разница лишь та, пожалуй, что тут еще явственнее сказывается «жеребьячья порода», виднее развращенность, скудоумие, кичливость, нагляднее тяга к накопительству. Попадают, конечно, в общей массе и те, кто посмышленнее, побойчее, но их активность, лишенная какого бы то ни было нравственного стержня, направлена исключительно на то, чтобы разбогатеть, «окулачиться» – за счет нещадно спаиваемых крестьян (рассказ «Хорошее житье») или за счет столь же нещадно обгориваемых «господ» (повесть «Федор Петрович»).



А сами «господа» – как дореформенные, так и пореформенные? Прочтите «Деревенскую газету» и «Из дневника неизвестного», «Федора Петровича» и «Сашу», «Деревенский театр» и «Издалека и вблизи», «Родственное свидание» и «Небывалый случай» – разве под наносным слоем «благовоспитанности» и «просвещенности», пусть даже на прогрессистский манер, не торжествуют в точности такие же развращенность, апатия, недомыслие, что и в простонародной среде, только тут эти качества выглядят еще гаже, ибо они породнены с праздностью, сытостью и бесконтрольным своеволием?..

А теперь попробуем вообразить, как эти «очерки народного быта» читались публикою, чьи представления о крестьянах были связаны с Антоном-Горемыкой Григоровича, Хорем и Калинычем Тургенева, с дворовыми людьми, о которых рассказывали Аксаков в «Семейной хронике» в «Детских годах Багрова-внука», Толстой в автобиографической трилогии. Какие ощущения испытывала публика, понимая, что в кругу описанных Успенским хоботовых, загвоздкиных и галкиных не приживутся, да и не могут прижиться, ни рудины, ни лаврецкие, ни иртеньевы?..

Шок – вот слово, которое приходит на ум, когда знакомишься с откликами современников на первые публикации Николая Успенского (они, заметим кстати, вообще были едва ли не первым словом писателей-разночинцев в русской литературе – произведения Слепцова появились в «Совре-

меннике» лишь в 1862 году, Помяловского, Левитова и Решетникова – в 1864-м, а Глеба Успенского – в 1865-м).

Достоевский в статье, специально посвященной «Рассказам» 1861 года, мог, конечно, указывать, что Успенский, как верный описыватель народного быта, «явился после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого» и потому «цена ему теперь совсем не та». Но Достоевский же и признавал, что, если предшествовавшие Успенскому «замечательные писатели» «заявили в литературе сознательно новую мысль высших классов общества о народе», то в произведениях Успенского народ едва ли не впервые, может быть, сам сказал о себе правду, и правда эта была такая, что «хуже всякой лжи». Во всяком случае, она резко контрастировала и с крепостническими иллюзиями насчет богобоязненных, преданных престолу и господам, трудо- и чадолюбивых мужичков, которым под барскою опекой гораздо уютнее, покойнее, чем на постылой воле. И с призывами Льва Толстого учиться у крестьянских детей нравственности и подлинной культуре. И с надеждами на скорую крестьянскую революцию, которая принесет стране конституционные свободы. И с распространенным в обществе мнением о том, что русский народ уже созрел для деятельности на социально-историческом поприще.

От соблазна обвинить Успенского в «неправдивости», в сознательном искажении истины о народе критики на первых порах воздержались: слишком силен был вызываемый

его рассказами «эффект присутствия», слишком велико доверие к знанию жизни, непринужденно продемонстрированному молодым писателем. Зато с характерной для русской общественно-литературной традиции неременностью тут же возник вопрос: зачем? Зачем писатель из народа так оскорбительно, с такими душераздирающими подробностями, с такою будто бы даже озлобленностью – вот, мол, вам, и еще, и еще! – говорит о народе? Что он хочет этим сказать? К чему призывает?..

«Старуха», «Поросенок», «Змей», «Обоз» никак вроде бы не поддавались однозначной идеологической интерпретации в категориях «левизны» – «правизны», «прогрессивности» – «реакционности», и в первых же отзывах критики писатель, заподозренный в «общественном индифферентизме», был зачислен в разряд бытописателей-фотографов, с холодным и бесстрастным равнодушием фиксирующих «мелочи жизни», не умея, по словам А. М. Скабичевского, при этом «отличить глубоко раздирающего стона бедняка от уличного крика пьяницы».

«Он приходит, например, на площадь, – сердито писал об Успенском и Достоевский, – и, даже не выбирая точки зрения, прямо, где попало, устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом все, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как есть. В картину войдет, естественно, и все совершенно ненужное в этой картине или, лучше сказать, в идее этой картины. Г-

н Успенский мало об этом заботится... Если б из-за рамки картины проглядывал в это мгновение кончик коровьего хвоста, он бы оставил и коровий хвост, решительно не заботясь о его ненужности в картине».

Применительно к писательской манере Успенского характеристика, данная Достоевским, в общем-то справедлива. Предвосхищая позднейшие эксперименты писателей-натуралистов (а начиная с Чехова – и реалистов) по детализированному, мнимо бесстрастному воспроизведению «мелочей жизни», по «граммофонному», как выразился Корней Чуковский, способу записи и передачи живой разговорной речи, Успенский действительно кое в чем отступил от традиций высокой русской классики с ее преимущественным вниманием к психологическому миру личности, с ее «указующим перстом», нацеленным в самую сердцевину общественного бытия, с ее, наконец, поистине завораживающим искусством соединять «поэзию и правду» в пределах емкого и цельного художественного образа.

### 3

По части «поэзии» Успенский, незачем скрывать, заметно уступает своим великим современникам, но разве, спросим впрямую, одной только «правды» – чистой, беспримесной, не офальшивленной грубой тенденциозностью – мало для того, чтобы писателю было воздано должное – пусть не

как врачевателю и исцелителю общественных язв, но хотя бы как их безжалостному диагносту?

Выходит, мало. «Правда» Николая Успенского о забитом, притерпевшемся к своим несчастьям, бездеятельном и бездуховном простонародье только раз пришлась ко времени. на рубеже пятидесятих – шестидесятих годов, когда общественное мнение было наэлектризовано толками об освобождении крестьянства и когда публицисты «Современника», поддерживаемые революционно настроенной молодежью, били во все колокола, надеясь разбудить народную волю и народный гнев.

Вот тогда-то Некрасов и схватился за безыскусные, казалось бы, «очерки народного быта». Вот тогда-то идеолог радикальной демократии Чернышевский и написал свою знаменитую статью, воспользовавшись рассказами Успенского как поводом к разговору, как материалом, свидетельствующим о том, что крестьянская масса уже доведена до крайнего отчаяния и что нужно лишь поднести зажженный фитиль, чтобы рванули пороховые погреба слежавшейся за века классовой ненависти.

Энергично доказывая эту мысль, Чернышевский, не вдаваясь, впрочем, в эстетические тонкости, оспорил почти все упреки, которые предъявлялись (да и впоследствии будут предъявляться) автору «очерков народного быта». Писатель искусственно принижает и тем самым унижает своих героев? Вот уж, по мнению критика, неверно: заслуга Успенско-

го как раз

«в том, что он говорит о мужиках без церемоний, как о людях, которых он сам считает и читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за людей, с которыми можно говорить откровенно все, что замечаешь о них».

Писатель, не скрывая темных и «низких» сторон крестьянского быта и патриархальной морали, говорит «о народе бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сентиментальную симпатию к нему»? И правильно делает, ибо вошедшее в либеральную привычку идеализирование мужика, по словам Чернышевского, действительно «прекрасно и благородно, – в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого – народу», – и не полезнее ли вскрыть гнойники беспощадным скальпелем, чем покрывать их сушальным золотом?..

И последний упрек – в том, что Успенский выводит на первый план не героев, не яркие в своей нравственной неординарности натуры, а, что называется, «серую скотинку».

Чернышевский поначалу вроде бы соглашается: да, среди персонажей Успенского почти исключительно «люди дюжинные, люди бесцветные, лишённые инициативы», – но затем и этот факт оборачивает к выгоде для писателя: в том-то и существо дела, что даже

«в жизни... дюжинного человека бывают минуты, когда нельзя его узнать, так он изменяется или порывом

благородного чувства, или мимолетным влиянием  
чрезвычайных обстоятельств, или просто наконец тем,  
что не может же навек ему хватить силы холодно  
держаться в неприятном положении».

Придет час, и близкий уже час, уверен Чернышевский,  
и эта самая рутинная, пошлая масса выдвинет своего Виль-  
гельма Телля, своих героев, вождей и трибунов!..

Давали ли напечатанные к тому времени произведения  
Николая Успенского повод к такого рода «подрывной» ин-  
терпретации? Положительный ответ здесь, наверное, возмо-  
жен, но с весьма и весьма существенными оговорками.

Будучи по своим убеждениям «коренным» демократом,  
причем настроенным в высшей степени критически по от-  
ношению и к правительству, и либеральной вере в возмож-  
ность благодетельных «реформ сверху»<sup>4</sup>, Успенский вместе  
с тем никак не может быть назван революционером. Идее  
крестьянской революции он не сочувствовал потому, прежде  
всего, что не верил в ее осуществимость, не верил в способ-

---

<sup>4</sup> В этом смысле характерно письмо Успенского Случевскому от 24 июня 1861  
года из Парижа: «...Находятся же такие пакостные люди, как, напр., Боткин, ко-  
торые стоят за Александра Николаевича (Александра II – С. Ч.). Боткин, когда  
я сказал... что манифест русский – вероятно вздор и что я не верю в освобож-  
дение, он принялся ругать меня заскорузылым невеждой... потом сказал: “Новые  
положения, недавно объявленные правительством, – превосходны, и пусть ваш  
мужик околеет если не воспользуется этими положениями” – наконец он заклю-  
чил: “Я недавно говорил Герцену про Александра Никол.: не ругай ты его, пожа-  
луйста!” – Да! как Герцену, так и Боткину пора – пора прочитать отходную, а то  
просто спеть вечную память!»

ность народа подняться на борьбу за свое освобождение, и не случайно Чернышевский завершает свои исполненные энтузиазма размышления о выводах, на которые будто бы наталкивают «Рассказы» 1861 года, сомнением: «...Как понравится наша статья г. Успенскому?» – и сам же себе отвечает: «Она решительно не понравится ему...».

Мы не знаем, как отнесся Успенский к прославившей его статье «Не начало ли перемены?». Но с полной уверенностью можно утверждать, что он не смог или, точнее, не захотел стать литературным знаменем, первым беллетристом радикально-демократического лагеря. Будь иначе, он дал бы, надо думать, укорот своим денежным претензиям в эпизоде с Некрасовым. Будь иначе, и издатели «Современника», наверное, нашли бы способ сохранить Успенского в числе ближайших авторов журнала.

И тут наводит на размышления то обстоятельство, что разрыв писателя с журналом совершился в дни, когда даже самым последовательным радикалам становилась ясной иллюзорность надежд на скорое и победоносное революционное потрясение. В кругу «Современника», да и в других слоях передовой интеллигенции, начался интенсивный поиск альтернативных идеологических вариантов и – пропагандистская надобность в той правде, которую говорил о народе Успенский, попросту отпала.

Он всюду оказался чужим.

И среди консерваторов, инстинктивно чужавших, что про-



изведения Успенского по своему объективному смыслу камня на камне не оставляют от устоев «православия, самодержавия и народности».

И среди либералов-реформистов, обескураженных едкостью, с которою Успенский высмеивал как всякого рода «преобразования» в сфере народного просвещения, здравоохранения, судопроизводства, так и саму идею барской опеки над народом.

И – это в особенности – среди стремительно утверждавшихся в отечественной печати народников. Они благоговели перед «исконной» народной мудростью, верили в нерушимое нравственное здоровье простолюдинов, готовы были пойти на выучку к мужику – а Успенский, словно бы нарочно, все множил и множил в своих рассказах разного свойства «уродства» и «вывихи», демонстрировал симптомы тяжелой болезни, от которой нелегко будет избавиться даже лучшим представителям крестьянского «мира». Они возлагали все свои надежды на сельскую общину как на прообраз «чисто русского социализма» – а Успенский показывал, что, во-первых, община уже разлагается, выделяя из себя кулачье, мироедов, а во-вторых, и в нынешнем своем, полупатриархальном состоянии она держит бедноту в рабстве не меньшем, чем крепостное.

И тогда Успенского называли клеветником.

«В его рассказах, – писал плодовитейший из критиков-народников А. М. Скабичевский, – народ

представляется в невообразимо безобразном виде: каждый мужик непременно вор, или пьяница, или такой дурак, каких и свет не производил; каждая баба такая идиотка, что ума помрачение... Что удавалось Н. Успенскому мельком увидеть или услышать, он передавал в сыром и конкретном виде, с единственной целью показать, как русский мужик невежествен, дик, смешон, загнан и забит, как тонет он в грязи невежества, суеверий, пошлости. Забитость, тупоумие, отсутствие всякого человеческого образа и подобия в героях Николая Успенского одуряют вас, когда вы читаете его очерки».

Вот это-то прoderжавшееся в печати несколько десятилетий мнение об Успенском как о человеке, злонамеренно будто бы оклеветавшем русский народ, и погубило окончательно доброе имя писателя в глазах широкой дореволюционной читательской аудитории. Критика и шедшая вслед за нею публика рассуждали о народнической прозе П. Засодимского, Н. Златовратского, Г. Успенского, Н. Каронина-Петропавловского, выясняли свои отношения с авторами «антинигилистических» романов (А. Писемский, Н. Лесков, В. Крестовский), спорили сначала о натурализме на русской почве (П. Боборыкин, И. Ясинский, Н. Морской), потом о «новом литературном поколении» (М. Альбов, А. Чехов, К. Баранцевич и др.), по традиции были приметливы к новым созданиям И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского, И. Гончарова, а Н. Успенского словно бы вовсе не брали в рас-

чет.

А между тем талант его, идя в общем-то на убыль, чему, надо думать, способствовало чувство «неуслышанности», «невостребованности», и во второй половине шестидесятых годов, и в семидесятые годы не раз мощно проявил себя, причем в гораздо более, чем прежде, социально острых и вместе с тем лиричных произведениях.

Успенский написал и опубликовал в «Отечественных записках» повесть «Федор Петрович», едва ли не первым, быть может, в русской литературе обнаружив, что на смену нищающим, сдающим свои социальные позиции помещикам приходят кулаки, кабатчики, сельские «капиталисты», и они-то все последовательнее прибирают деревню к своим рукам.

Критика промолчала.

Успенский с сатирической меткостью обрисовал в повести «Издалека и вблизи» типические фигуры русских дворян, потерявших жизненные ориентиры в пореформенную эпоху (здесь и толстовцы, и охотники переустроить хозяйство на «рациональный» лад, и те, кто верит в возможность жить по старинке).

Повесть появилась в солидном «Вестнике Европы», но критика и тут семь лет хранила гордое молчание, пока Н. Михайловский, снисходительно похвалив писателя за то, что его повесть «по замыслу охватывает чрезвычайно интересный мотив современной русской жизни», не поставил ему в вину несочувственность к новейшим «прогрессистским вея-

ниям» и, прежде всего, к распространенному в те годы «хождению в народ».

Успенский рассказал в «Егорке-пастухе» трогательную историю двух любящих крестьянских сердец, показав, как идиллия, пройдя испытание фарсом, обернулась в итоге – благодаря чиновничьему равнодушию и благодаря косности крестьянского «мира» – подлинной трагедией, но и в этом случае ответом писателю было почти полное общественное безразличие.

## 4

У читателя может возникнуть, пожалуй, впечатление, что произведения Успенского, пережив свой «звездный час», на чисто выпали из русской литературы, не участвовали в ее движении и лишь в двадцатые-тридцатые годы нашего века были вновь вспомнены – уже как архивный документ, имеющий исключительно историческое, историко-литературное значение. Так ли это?

Так, да не вполне так. Истинную цену автору «очерков народного быта» знали, прежде всего, великие его современники – русские писатели, и если Тургенев, сопоставляя Николая Успенского с Глебом, утверждал не без личной и вполне понятной неприязненность, что «у Глеба в десять раз больше таланта», то Лев Толстой, по свидетельству мемуариста, говорил как раз обратное: «Я ставлю Николая Успенского мно-

го выше превознесенного другого Успенского, Глеба, у которого нет ни той правды, ни той художественности». Нелишне упомянуть и о том, что И. Бунин в начале своего творческого пути замышлял писать биографию Успенского, собирал свидетельства очевидцев и поместил о нем несколько содержательных заметок в тогдашней печати. Или о том, что М. Горький неизменно, хотя и не вполне точно именовал Успенского «родоначальником и зачинателем чисто народнической и народолюбческой литературы».

Дело, впрочем, не только и не столько в благосклонных отзывах. Оказав заметное, никем не оспариваемое, хотя пока и недостаточно изученное влияние на писателей демократического, а впоследствии и народнического лагеря (у него сначала учились, затем с ним спорили, но ведь и полемика есть форма освоения традиции), Успенский исподволь «сказался» во многих и многих классических произведениях, посвященных мужицкой доле и вообще тяжелой участи русского простонародья.

Это относится прежде всего к толстовской «Власти тьмы»<sup>5</sup>, к чеховским повестям и рассказам «Мужики», «Новая дача», «По делам службы», «В овраге», где в полемике

---

<sup>5</sup> Любопытно, впрочем, что, в глумливых интонациях пересказывая свой разговор с Толстым о «Власти тьмы», Успенский, по его словам, резко порицал автора за чрезмерность мрачных красок и выведение на первый план натур типа Матрены, Анисьи и Никитки: «...Этакие люди, по-моему, не должны быть вносимы в сферу искусства и быть проводниками каких-либо идей...» – *Н. Успенский*. Из прошлого, 1889, с. 157 – 158.

с утешительными сказочками позднего народничества о мужике – праведнике и «богоносце» сознательно или, скорее всего, неосознанно, опосредованно учтен и опыт забытого, казалось бы, писателя, некогда прославленного своим, как говорила критика, «беспощадным отношением к народу». С еще большей определенностью следы воздействия Успенского обнаруживаются в предреволюционной прозе Горького, Бунина, некоторых других писателей, группировавшихся вокруг издательства «Знание».

И вот тут-то, в соотнесении с получившей дальнейшее развитие традицией, особенно очевидной становится неосновательность и несправедливость тех упреков в «клевете на народ», которые адресовались Успенскому на протяжении нескольких десятилетий. Он действительно больше говорил о мрачных, неприглядных сторонах крестьянского и разночинского быта, нежели о том, что заслуживало поэтизации, светлой грусти. Он действительно, словно бы не замечал или почти не замечал проявлений социального протеста, нравственного противостояния косной среде, рисовал по преимуществу картины духовной спячки, «оскотинивания», варварской грубости в нравах, помыслах и запросах.

Но, говоря так и рисуя все это, Успенский, как подчеркнуто было еще Чернышевским, смотрит на простонародье не со стороны, не как заезжий «французик из Бордо» или скучающий барин в белых перчатках, а как свой, беспримесно родственный этому полуголодному, полупьяному, нищему и

несчастному человеку – родственник и по крови, и по социальному опыту, и даже по принадлежности к той пресловутой «жеребьячьей породе», которую очевидцы зафиксировали в воспоминаниях о писателе. Для него нет тайн в этой среде, но для него и жизни нет, кроме как в этой среде, и обида, которая душит, озлобляет Успенского, это обида не на народ (так обижались барышни из хороших семей, разочарованные успехом своих «хождений» по деревням), а за народ, никак не могущий вырваться из болотной трясины, не почувствовавший пока – и почувствует ли? – в себе сил, достаточных, чтобы подняться к вершинам своего исторического предназначения.

Народолюбие Успенского резко враждебно и по отношению к показному преклонению «опрощающейся» интеллигенции перед смиренным богатырем и мудрецом в худом армячишке, и по отношению – тоже незачем скрывать – к нетерпеливым попыткам разбудить дремлющее крестьянское море, вызвать так скоро, как только удастся, подобный урагану «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». В его рассказах о России и русских в XIX столетии силен элемент не только социальной критики, но и, если можно так выразиться, «национальной самокритики» – той самой, что надиктовывала образы Плюшкина, Ноздрева и Селифана Гоголю, Обломова и Адуевых – Гончарову, братьев Карамазовых и Смердякова – Достоевскому.

Но все-таки это именно народолюбие, и чуткий к подоб-

ным вещам Достоевский недаром отмечал, что

«г-н Успенский, во-первых, любит народ, но не за то-то и потому-то, а любит его как он есть. Для него все дорого в народе, каждая черта; вот почему он так и дорожит каждой чертой. С виду его рассказ как будто бесстрастен: г-н Успенский никого не хвалит, видно, что и не хочет хвалить; не выставляет на вид хороших сторон народа и не меряет их на известные, общепринятые и выжитые цивилизацией мерочки добродетели. Он и не бранит за зло, даже как будто и не сердится, не возмущается. Сознательный вывод он предлагает сделать самому читателю».

Все это – кажущееся бесстрастие, неявность авторской позиции, доверие к читательской способности самостоятельно сделать «сознательный вывод», небоязнь, наконец, «цинических», «бесстыдных» деталей и сюжетов, если они требуются по условиям художественной задачи, – сильно осложнило взаимоотношения писателя с современной ему критикой. Но это же проложило Успенскому дорогу в двадцатый век, связало его опыты с литературными исканиями новейшей эпохи, и, перечитывая сегодня «Обоз», «Поросенка», «Змея», «Сельскую аптеку», видишь, как отложился юмор Успенского в «пестрых» рассказах Антоши Чехонте, как ожили и заиграли многие приемы, первоначально опробованные автором «очерков народного быта», в «сказовой» прозе двадцатых годов и, в особенности, в сатирах Михаила Зощенко, как лукавые герои-рассказчики Успенского протя-



гивают руку Василию Шукшину с его «Беседами при ясной луне» и «До третьих петухов», Василию Белову с его «Плотницкими рассказами» и «Бухтинами вологодскими...», Борису Можяеву с его «Живым» и «Историей села Брехова...».

Вчитываясь, например, в начальные фразы рассказа «Грушка»:

«Жив еще старичок-то – мой тятенька... ни единого волоска на голове, а тоже иное время пустится в присядку! чуден родитель!.. Когда же захмелеет, то всегда запеваает: “Ай ты, молодость... буйная! разинет рот; а там ни одного зуба нет!”»,

или следя за тем, как приказчик флиртует с купеческой дочерью в том же рассказе:

« – Куда, сударыня, гуляете?...

– А вам на что, мон шер?

– Нам, значит, особенной важности мало... осведомиться желательно – не больше того.

– В эвтом раз иду, – говорит, – с гулянья.

– А нельзя ли полюбопытствовать, как ваше имечко?

– Аграфена Власьевна Мурашкина.

– Так-с. Что же вы, Аграфена Власьевна Мурашкина, стало быть, теперича домой отправляесть?

– Домой, – говорит.

– Ну, а ежели внезапно смеркнется? Не опасно одной вам, примерно, идти?

– Нисколько, наш дом-то вот он.

– Где?

- Вот он.
- Гм... так, следовательно, до свиданья!
- Прощайте-с... А как вас зовут, мусье, – спрашивает она.

– Меня, стало быть, зовут Потап Егорыч Свиньин»,

и просто невольно ахаешь: Зощенко! ну как есть чистый Зощенко!.. И таких примеров, когда сквозь текст «очерков народного быта» как бы проступают водяные знаки более близких к нам по времени и, значит, более знакомых нам писателей XX века, можно привести немало.

Одно только существенное уточнение. Было бы непростительной натяжкой считать М. Зощенко или П. Романова, В. Шукшина или Б. Можая прямыми «наследниками» и «преемниками» Николая Успенского. Очень может быть, что им и не попадались никогда на глаза ни «Поросенок», ни «Грушка», ни «Хорошее житье»; интервалы в два-три десятилетия между очередными переизданиями сочинений Успенского делают вполне вероятной такую возможность. Так что же тогда – случайные совпадения перед нами?.. Нет, скорее типологическая близость, обусловленная тем, что обращение к сходным художественным задачам требует в свою очередь и обращения к в общем-то определенному, санкционированному традицией типу художественных средств, приемов образо- и сюжетостроения, способов обработки живо-го просторечия.

Или, еще вернее, перед нами следование традиции, ко-

торая не одним, конечно, Николаем Успенским завещана, но которая и ему, оставшемуся почти безымянным, обязана очень все ж таки многим. Так бывает в развитой культуре: книги писателя, если он не включен стоустой молвой, преданием в число наших «вечных спутников», уходят со временем как бы на периферию литературного процесса, имя его гаснет в сознании и читателей, и литераторов грядущих поколений, но зерна, оброненные им в родную почву, выживают, идут в рост, и, любясь обильными всходами, мы не часто вспоминаем, кто же был первым или одним из первых сеятелей.

Но иногда, хотя бы иногда вспоминать нужно. И, оглядываясь на страдальческую, полную мук, горя, заслуженных и незаслуженных обид жизнь автора «очерков народного быта», заново прочитывая избранные страницы его литературного наследия, думаешь и о драматических судьбах талантливых разночинцев в пореформенной России, и о классической нашей литературе, облик которой будет, безусловно, неполон без таких, как он, художников второго ряда, и о той, издревле завещанной нам традиции взыскательной, зрячей, а коли понадобится, то и «беспощадной» любви к своему Отечеству и своим соотечественникам, которой верой и правдой служил писатель Николай Васильевич Успенский.

# Литератор: Петр Боборыкин

## 1

Эту статью с полным основанием можно было бы начать так:

долгая жизнь Петра Дмитриевича Боборыкина (1836 – 1921) сложилась весьма счастливо. Выходец из среднеобеспеченной помещичьей семьи, он получил отличное, даже по тем временам, образование – сначала в «камеральном» разряде Казанского университета, затем в Дерпте (ныне – Тарту), где готовился к карьере ученого-химика и медика и составил собственное «руководство по животной физиологической химии», и, наконец, в Петербурге, где успешно выдержал кандидатские экзамены по «разряду административных наук». Превосходно владея основными европейскими языками (уже в зрелые годы к ним прибавились древнегреческий и польский), объездив весь Старый Свет, великолепно разбираясь в философии, естествознании, политических дисциплинах, в изобразительном и театральном искусстве, он слыл одним из культурнейших людей своей эпохи, умелым рассказчиком и приятным собеседником, хранителем традиций старорусской дворянской просвещенности.

Занятия литературой он начал рано, и тоже весьма удач-

но: первые же его пьесы – «Фразеры», «Одноворец», «Ребенок», – написанные еще студентом Дерптского университета, увидели свет столичной и провинциальной рампы, вызвали доброжелательные отклики прессы, а объемистый, шестидесятичетырехлистный, роман «В путь-дорогу» (1862 – 1864) заявил о Боборыкине как об очень и очень перспективном прозаике, верном заветам отечественного реализма.

Внимание публики почти неизменно сопутствовало и появлению последующих сочинений писателя – романов «Земские силы» и «Жертва вечерняя», «Солидные добродетели» и «Дельцы», «Китай-город» и «Тяга», «Перевал» и «Василий Теркин», повестей «По-американски» и «Поддели», «Однокурсники» и «Исповедники», многочисленных рассказов, пьес, очерков, философских и литературно-критических статей, театральных рецензий и учебников, основательного исследования «Европейский роман в XIX столетии» и мемуарных книг «Столицы мира» и «За полвека»...

Здесь названы лишь некоторые из произведений Петра Дмитриевича. В целом же его литературное наследие почти необозримо; достаточно сказать, что в течение добрых пятидесяти лет он был наиболее, пожалуй, аккуратным «вкладчиком» самых респектабельных журналов своей эпохи: от «Библиотеки для чтения» до «Отечественных записок», от «Вестника Европы» до «Русской мысли». Вошло даже в обычай – открывать журнальный год новым романом или, на самый худой конец, новой повестью «нашего маститого белле-

триста», — благо, все, что появлялось из-под пера Боборыкина, было обращено к самым животрепещущим вопросам русской общественной жизни, проникнуто демократическими тенденциями, направлено на пробуждение в читающей массе добрых чувств и светлых упований.

Работоспособность, по нынешним меркам, почти невероятная; почти невероятна и стабильность творческой деятельности писателя, которого доставало и на беллетристику, и на активное участие в театральных делах, и на журналистику (заслуживают быть отмеченными, в частности, его отчеты о Брюссельском конгрессе I Интернационала и его очерки «На развалинах Парижа», рисующие Францию сразу после крушения Парижской коммуны), и на теснейшее общение не только с русскими, но и с европейскими знаменитостями.

Кого только не успел «зазнать» (его словцо) Петр Дмитриевич Боборыкин за полвека с лишним беспорочного служения общественным идеалам и литературе! Пересматривая сейчас его воспоминания, роясь в его обширных и практически не обследованных архивах, наудачу выхватываешь имена: Герцен, Писемский, Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Некрасов, Чехов, Флобер, Ренан, Золя, братья Гонкуры, Мопассан... И со всеми почти он состоял в более или менее оживленной переписке<sup>6</sup>,

---

<sup>6</sup> Чтоб составить себе представление об объеме этой переписки, приведем фразу из неопубликованного письма Боборыкина Н. К. Михайловскому от 24 декабря 1875 года: «Пишу я... 700 писем в год, в том числе 500 в Россию», — и попросим читателей перемножить эти цифры на число лет, отданных маститым белле-

обо всех оставил важные свидетельства...

Пользовался ли он расположением своих великих современников? Всякое бывало, конечно, но в целом, видимо, пользовался. Недаром же Некрасов и Салтыков-Щедрин от года к году печатали его романы в «Отечественных записках», а Чехов, к примеру, назвал Боборыкина «добросовестным тружеником», прибавив, что «его романы дают большой материал для изучения эпохи». Недаром и Лев Толстой, весьма «сердитый», как известно, отметил: «Боборыкин замечательно чуток. Это заслуга», – а в 1900 году в письме вице-президенту Академии наук М. И. Сухомлину, отвечая на предложение назвать шесть кандидатов в почетные академики, твердо выявил свою волю: «Писатель, которого я предложил бы к избранию в почетные члены, это художник и критик П. Д. Боборыкин. Если это можно, то я повторяю это предложение 6 раз».

Репутация Боборыкина к рубежу столетий была, надо полагать, настолько устоявшейся, несомнительной, что его избрание в почетные академики прошло вполне успешно. Сам же писатель, успев взволнованно откликнуться на события первой русской революции и последовавшую затем реакцию, вскоре покинул Россию и тихо угас в швейцарском городке Лугано за несколько дней до своего восьмидесятипятилетия.

Теперь приостановимся.

Все, сказанное выше о Петре Дмитриевиче Боборыкине, есть святая, истинная правда. Дай бог всякому, как говорит-ся, такой долгой, красивой, богатой впечатлениями, наполненной трудами жизни. И все-таки...

И все-таки эту статью с полным на то основанием следовало бы, наверное, начать совсем иначе:

писательская, литературная судьба Петра Дмитриевича Боборыкина сложилась на удивление неудачно. Не обделенный ни знаниями, ни дарованием, ни преданной любовью к искусству, он с первых же пьес, с первых же романов прочно занял место во «втором ряду» родной словесности, в кругу «бытописателей» и «беллетристов», и с места этого не стро-нулся в течение всей своей долгой и, как мы уже говорили, безупречной творческой биографии.

Нельзя сказать, что он не посягал на более завидную участь, не стремился стать вровень с Толстым и Тургеневым, Достоевским и Чеховым. Посягал, и еще как посягал, выставляя в печать одну «энциклопедию русской жизни» за другой, бранчливо сетуя на тенденциозность критики и забывчивость потомства, едко прохаживаясь насчет «нехудожественного языка» Л. Толстого, «неспособности» Достоевского доставлять «чисто эстетическое удовлетворение» или



насчет «добровольного пребывания» Островского «в старых комических тенетах», доказывал собственное первенство в открытии новых сторон российской действительности и новых форм художественной речи:

«...я *совсем* изменил склад повествования, пропуская все и в объективных вещах через психику и умственный склад *действующих лиц*. Этого вы не найдете ни у кого из моих старших. У Тургенева, у Толстого даже следа нет – совсем по другому. Точно так же и в складе рассказа, в *ходе* его, в отсутствии тех условностей, которых держались все мои сверстники»<sup>7</sup>.

Уже на склоне лет он, не смирив обиды, неустанно твердил о своем приоритете в сравнении с Чеховым:

«Ведь его язык, тон, склад фразы, ритм – не с неба же свалились? <...> ...Вопрос о том, между Чеховым и Толстым *кто* стоит, в смысле более нервного, краткого, колоритного языка... с другим совсем *ритмом* – ...не заявление только моей авторской *претензии*», —

и, например, Куприным:

«...Ведь я – *его* *прямой предшественник*, и притом в литературно-художественной форме»...

Ламентации такого рода, отчасти, как мы увидим позднее, справедливы, но что ламентации? – они не в силах были, конечно, «перешибить» (опять его словцо) той инерции вос-

---

<sup>7</sup> Выделено здесь и далее П. Д. Боборыкиным.

приятия, что складывалась десятилетиями. И дело здесь даже не в том, что у Тургенева, Толстого, Гаршина, Чехова, Короленко, наряду с добрыми отзывами о Боборыкине, встречаются и весьма нелестные, не в том, что у Салтыкова-Щедрина, например, срывались с пера раздраженные фразы вроде:

«Боборыкина повесть – чорт знает что такое! Нынче литераторы словно здравого смысла лишились»...

Гораздо большая беда в том, что и в положительных аттестациях, которые давали Боборыкину его современники: «добросовестный труженик» (А. Чехов), «замечательно чуток» (Л. Толстой), «чуткий бытописатель русской жизни» (В. Комиссаржевская), «маститый бытописатель» (А. Луначарский), – сквозили если не прямая ирония, то, по меньшей мере, скептическое мнение о размерах дарования писателя и о его реальном вкладе в отечественную литературу. Единственный раз Боборыкину удалось услышать про себя слова «великий романист», да и то Э. Золя, приславший приветственную телеграмму к 40-летию литературной деятельности автора романов «На суд» и «На ущербе», тут же предусмотрительно оговорился:

«...я страшный невежда, по-русски не читаю и не могу судить о нем и высказывать свое суждение».

Юбилейные славословия, впрочем, в любом случае – совершенно особая статья. Куда чаще применительно к Бобо-

рыкину в течение полувека звучало – в глаза, печатно, внешне почтительное: «опытный беллетрист», «маститый романист», «почтенный автор», – а за глаза совсем уж буффонное: «Пьер Бо-бо», «нана-туралист», «Боборыша» и проч. и проч.

Обо всем этом надобно знать современному читателю, как и о том, что все почти благие начинания Петра Дмитриевича кончались более чем плачевно, к убытку для его доброго имени.

Он в двадцать с маленьким лет взялся быть редактором-издателем солидного журнала «Библиотека для чтения» – и почти мгновенно прогорел, лишившись как унаследованного состояния (оно пошло на выплату долгов), так и репутации «делового человека».

Он многократно брался за руководство частными театрами – и все обязательно кончалось пшиком.

Он в истории с «академическим инцидентом» 1902 года, когда Николай II не утвердил избрание Горького в почетные члены Академии наук, долго интриговал, чтобы обеспечить единогласный протест всех своих коллег по разряду изящной словесности, – и в критическую минуту спасовал, не отправил заранее заготовленного заявления о собственном демонстративном выходе из опозоренной Академии, так что в учебниках остался лишь благородный поступок Чехова с Короленко, а на реноме Петра Дмитриевича легло явствен-

ное пятно<sup>8</sup>.

Он, наконец, много-много лет работал над исследованием судебных европейской прозы нового времени – и не сумел выпустить из печати второй, и наиболее значительный, том этого капитального труда, посвященный русской романистике XIX века...<sup>9</sup>

Такая вот судьба. И что ж удивительного, что в сознании русской читающей публики самое имя Боборыкина сделалось едва ли не символом торопливой плодовитости, бескрылой фактографичности, творческой анемии. Сравнения с Боборыкиным страшится каждый русский литератор в нашем столетии. И это при том, что романов, повестей и рассказов «маститого беллетриста», за вычетом неоднократно переиздававшегося «Китай-города», не читал почти никто из наших современников! И это при том, что уж точно никто не видел его пьес на сцене!

В памяти литературы сохранилось только имя, полу символ-полужупел. Романы же и прочее, что составило два различных по составу двенадцатитомных прижизненных собрания сочинений, ушли в архивные фонды. И настолько глубоко, что Твардовский, например, только по завершении сво-

---

<sup>8</sup> «Большое впечатление произвело в Петербурге Ваше письмо в Академию... – сообщал Чехову Куприн. – На днях в одном обществе, где был и Боборыкин, это письмо читали вслух. Маститый романист, говорят, чувствовал себя при этом не совсем ловко».

<sup>9</sup> Неполная корректура этой книги хранится в рукописном отделе Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом).

ей «книги про бойца» узнал, что первый в истории русской словесности «Василий Теркин» появился еще в 1892 году...

Что же касается историков литературы, то и они, введя в научный оборот двухтомное издание «Воспоминаний» Боборыкина, несколько его повестей и рассказов («Долго ли?», «Последняя депеша», «Проездом», «Поумнел», «Однокурсники», «Труп» и, кажется, все), лишь в исключительных случаях берутся за перечитывание главных произведений писателя. Утвердилось мнение, что, хотя в художественном отношении романы, повести и рассказы Боборыкина, по словам одного из критиков, «выцвели, как выцветают фельетоны на злобу дня», они тем не менее продолжают оставаться важным источником сведений для исследователей русского общественного уклада во второй половине XIX и начале XX столетия.

Вывод этот скорее всего основателен. Но вся печаль в том, что и исследователи общественного уклада к сочинениям Боборыкина практически не обращаются. Они и для профессиональных историков тоже – вне поля зрения, за чертой научно-творческой заинтересованности.

Так что же выходит: верна, значит, инерция восприятия (точнее не-восприятия), и к трудам П. Д. Боборыкина, 175-летие со дня рождения которого мы могли сравнительно недавно отметить, да не отметили, действительно, некому и незачем приковывать внимание? И как все-таки примирить абсолютно благополучную писательскую «биографию» с аб-

солютно неблагополучной писательской «судьбой»?

Тут – загадка. И распутать ее необходимо, как ради памяти честного писателя, не впуская же хлопотавшего в русской литературе около шестидесяти годов, так и ради того, чтобы заново поставить принципиально важный вопрос о соотношении между творческой «стратегией» и творческой «биографией», между биографией и судьбой художника.

### 3

Как известно, одаренные люди приходят в искусство с разными задачами. Одних привлекает возможность исследовать общество и личность в их родовых чертах и их индивидуальной окраске. Другими движет неукротимая фантазия, стремление трансформировать реальность в собственную «художественную вселенную», близкую к подлинной и в то же время чуточку не такую, какую мы все ее видим. Третьим дорога «учительная», проповедническая миссия искусства и т. д. и т. п.

Словом, резонов для занятия писательством много; в каждом данном случае свой. Свой резон был и у молодого Петра Дмитриевича Боборыкина – он, воспитанный на «Повестях Белкина» и «Герое нашего времени», «Мертвых душах»<sup>10</sup> и

---

<sup>10</sup> К Гоголю, впрочем, Боборыкин был всегда холоден. Признавая великое дарование писателя, он никак не хотел признать плодотворность того духа «обличительства», который был выявлен в творениях Гоголя революционно-демократической критикой и вокруг которого сформировалось по сути «гоголевское»

«Обыкновенной истории», «Семейной хронике» и «Записках охотника», вдруг (о, это *вдруг* в жизни художника!..) обнаружил, что отнюдь не все области российской действительности оказались к середине XIX века «охваченными» художественной литературой.

Спустя десятилетия возвращаясь к моменту выбора пути, Боборыкин снова спросит:

«...воспользовалась ли наша беллетристика всем, чем могла бы в русской жизни 40-х и половины 50-х годов?»

И снова ответит сам себе:

«Смело говорю: нет, не воспользовалась. Если тогда силен был цензурный гнет, то ведь многие стороны жизни людей, их психия, характерные особенности быта, можно было изображать и не в одном обличительном духе <...>. Без всякой предвзятости, не мудрствуя лукаво, без ложной идеализации и преувеличений, беллетристика могла черпать из жизни каждого губернского города и каждой усадьбы еще многое и многое, что осталось бы достоянием нашей художественной литературы».

---

направление в русской литературе. «Мертвые души» и «Ревизор» настолько не вменялись в концепцию Боборыкина, что он попытался вообще вывести их автора за пределы русской литературы: «Пушкин и Гоголь, по темпераменту, – это два крайних полюса, и вдобавок по расовому типу не имеют между собой ничего общего. Один характерный великоросс; другой – несомненный “хохлик”, как он сам иногда называл себя...».

Счет, предъявленный дерптским студентом русской литературе, счет в «неполноте» охвата действительности, он решил оплатить самостоятельно – и решению этому остался верен до последних дней своей писательской карьеры.

В русской литературе нет, скажем, чего-то вроде «Годов учения Вильгельма Мейстера» Гете, нет художественной картины гимназического и студенческого быта? Значит, будет, и роман «В путь-дорогу», во многом автобиографический, на протяжении двух лет аккуратно поступает к подписчикам «Библиотеки для чтения».

У нас не говорили пока о том, как скверно живется литераторам и журналистам-поденщикам? – и уже пишется повесть «Долго ли?», уже создается (утраченная в рукописи) пьеса «Скорбная братия», уже идут к читателю журнальные очерки и газетные фельетоны.

В беллетристике не возникали еще образы ранних русских марксистов, ницшеанцев, необуддистов и прочая, и прочая? – так вот же они: все собраны в романе «Перевал», все спешно обмениваются новостями и исповеданиями веры, все горячатся и спорят...

Это очень важно подчеркнуть: корни творческой несчастьности Петра Дмитриевича Боборыкина никак не в том, что он задавался слишком мелкими или чересчур временными целями. Как раз наоборот: вся его драма в том, что он добровольно взял на себя груз, который и куда большим писателям неподъем. Он как бы вознамерился заменить своими кни-



гами всю русскую литературу в целом, представить публике нечто похожее на газету или, лучше сказать, на ежегодно обновляющийся многотомный беллетризированный энциклопедический словарь, где есть главы (романы, повести, рассказы...) и о первых в России столкновениях фабричных рабочих с предпринимателями, и о проституции в высшем свете, и об отношении дворянской молодежи к балканским войнам, и о позднейшей судьбе либералов-шестидесятников, и о превращении замоскворецких купцов в англазированных буржуа, и о меню ресторана «Славянский базар», и о многом, очень многом еще.

И что же?..

Можно, конечно, считать, что Боборыкин успешно справился с задачей – см. первую главку этого очерка. Недаром, как сочувственно сообщает мемуарист,

«им было не пропущено буквально ни одного крупного сдвига в интеллигентских настроениях, бытописателем которых он по преимуществу являлся».

Романы, повести Боборыкина действительно рвали друг у друга из рук, особенно в провинции. Здесь уместно сослаться на свидетельство критика журнала «Мир божий» Вл. Крайнихфельда, который долгие годы провел в ссылке и отлично запомнил, что «...чтение каждой январской книжки “Вестника Европы”» ссыльные интеллигенты

«начинали непременно с г. Боборыкина... Газеты и журналы того времени освещали русскую жизнь далеко

не полно, непосредственных сношений со столицами у нас не было, и г. Боборыкин был для нас единственным лицом, от которого мы получали сведения о смене столичных настроений и течений».

В общем-то, книги Боборыкина делали свое благое дело, и нам грешно было бы сейчас упустить из виду, что писатель десятилетиями держал публику «в курсе» всех и всяческих новостей, раньше всех оповещал о появлении новой знаменитости или нового умственного веяния, первым открыл для литературы, например, мир фабричного пролетариата или европеизированной русской буржуазии. В воспроизведении мимики «героев своего времени» он преуспел, безусловно, больше всех, но — увы! и литература, и история по своей натуре безжалостны, и стоило хоть на йоту измениться мимике или стоило появиться книгам, в которых сквозь «выражение лица» прозревались «черты лица», как произведения Боборыкина оказывались либо устаревшими, либо оттесненными на самый дальний план. Так «хмурые люди» Чехова «отменили» боборыкинских «средних» интеллигентов — «негероев», так Горький «окуровским» циклом «отменил» боборыкинские повествования о мятущихся купцах, так купринская «Яма» «отменила» «Жертву вечернюю» нашего мастиного беллетриста...

Что оставалось Петру Дмитриевичу? Снова и снова ловить меняющееся «выражение лица» своей эпохи, откликаться на новую злобу дня, гримировать под художественные

образы очередных, наскоро портретированных знаменитостей, торопиться со сдачей романа, повести, пьесы... Работа шла как у конвейера, требующего все новых и новых впечатлений, наблюдений, подробностей, деталей; книги слипались одна с другою в некое подобие «летописного документа», по удачному определению А. В. Луначарского; время не хотело ждать; и, надо сказать, эта работа, эта гонка, этот темп очень нравились писателю, вполне соответствовали и его личному темпераменту, и его представлениям об обязанностях художника как «отметчика» стремительного бега эпохи.

«...Я целый день рыщу по Москве: дошел до того, что точно гимназист на масленице – бываю *по два раза* в день в театре, и даже одном и том же: днем на генеральной репетиции, а вечером на спектакле, – восторженно сообщал семидесятитрехлетний романист своему гораздо более молодому “собрату”. – Произвожу я и анкету по части новейшего городского мистицизма в его разветвлениях. За мое отсутствие накопились такие толки: свободные христиане, “братчики”, “люди 3-го царства”, “бессмерт ники”, теософы (штейнеровского толка), адвентийцы, буддийцы! Очень интересно!»

Такая чрезмерная озабоченность преходящей злобой дня, такая оперативность в отклике, когда главным оказывалось «отметить», а не исследовать очередной этап общественно-исторического процесса, не могли, конечно, не раздражать наиболее серьезных и вдумчивых современников Боборыкина. И Тургенев, думается, высказывал не свою только

личную точку зрения, когда в раздражении писал Салтыкову-Щедрину:

«Я легко могу представить его на развалинах мира, строчащего роман, в котором будут воспроизведены самые последние “веяния” погибающей земли. Такой торопливой плодовитости нет другого примера в истории всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты за пять минут до их рождения».

## 4

И все-таки...

И все-таки повторим на новый лад уже сказанное: без произведений, похожих на книги Боборыкина, на книги его многочисленных предшественников и бесчисленных продолжателей, литература не живет и жить не может. Развернутые к современности, к прибою секунд и минут, они говорят обществу о том, что занимает общество именно в данное мгновение, они неустанно фиксируют и, по мере сил, формируют общественное мнение, своей беззатейной, простоватой правдивостью готовят общество к постижению социально-философских и художественных истин, которые еще только созревают в душе крупных мастеров слова.

На это – общественное – значение боборыкинских книг и на эту общественную в своей сути сфокусированность твор-

ческих тяготений писателя стоит обратить первоочередное внимание. Хотя бы потому, что Боборыкина, вошедшего в учебники и словари в роли ведущего представителя русского натурализма, часто упрекали именно в асоциальности, общественном индифферентизме, в избыточном увлечении «биологическими» мотивировками, скабрёзностями и всякого рода физио— и психопатологиями, в повышенном интересе к так называемому «человеку-зверю», человеку как «функции» пола, низменных инстинктов и проч.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.